

ДМИТРИЙ ДАРИН



КУЛИБИН

РАССКАЗЫ

Старика Матвея звали на селе Кулибиным давно. Никто точно и не помнил, когда к нему приклеилось это прозвище. Хотя Матвей таким уж стариком и не был, но в свои пятьдесят пять лет выглядел намного старше. Сказывалось большое пьянство в молодости, да внушительности добавляла рано поседевшая борода. Матвей бросил пить как-то сразу, в одночасье, когда, ожидая вызова в кабинет председателя сельсовета на очередную “пропесочку”, прочитал в каком-то научно-популярном журнале, валявшемся там же, в сельсовете, на окне, как один деревенский умелец-самоучка собрал у себя в сарае самолёт. Матвея так поразила эта заметка, что он даже не препирался, как обычно, с председателем, а пропустил ругань мимо ушей. Матвей стоял в середине кабинета, председатель ходил вокруг него, сыпал воспитательным матом, а Матвей всё представлял себе, как из обычного деревенского сарая выводят новенький серебристый летательный аппарат в окружении стайки босоногих пацанов. Придя к себе в пустую пятистенку, Матвей сел у окна, закурил папиросу и задумался. Он был неплохим слесарем, мог с закрытыми глазами перебрать трактор. Дерево тоже его слушалось, Матвей ещё ребёнком вырезал ножичком из суковатых веток забавные фигурки лошадок и разной прочей живности. Оказывается, кто-то своими руками сделал целый самолёт — мечту всех мальчишек его поколения, а может, и всех поколений. Тогда-то Матвей и решился. Подойдя к пузатому дедовскому,

ДАРИН Дмитрий Александрович родился в 1964 году в Ленинграде. В 1986 году окончил МГИМО. Проходил службу в войсках специального назначения в Группе советских войск в Германии. Доктор экономических наук. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Есенина “О Русь, взмахни крылами...” Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ещё старорежимному буфету, Матвей взял последнюю невышитую чекушку и, вздохнув, решительно выбросил в окно. Теперь у него тоже появилась мечта — вертолёт.

Но мечта — дело серьёзное, которое и обдумывать, и осуществлять нужно не наскоком, постепенно. Матвей приходил после работы, где на него теперь не могли нарадоваться, ел на скорую руку, что готовила его тётка Елизавета, и шёл в свою “мастерскую” — сарай, заваленный разными добытками в МТС запчастями от тракторов, косилок и другой техники. Родителей Матвей не помнил. Отец сгорел в пожаре, спасая от огня колхозное зерно, мать умерла при родах. Сиротку взяла себе родня, правда, родня состояла из одной тётки, старшей сестры матери. У Елизаветы муж погиб под Вязьмой, ещё в самом начале войны, детей своих завести не успели — племянник заменил Елизавете сына. Сначала Матвей придумал специальные мокроступы, приделав к обычным лыжам пустые запаянные канистры из-под бензина. На них можно было ходить не только по болоту — собирать клюкву, не рискуя быть засосанным трясиной, — но и пересекать не очень широкие речушки, которых в изобилии в Мещёре. Елизавета тогда отмахнулась: громоздко, мол, пока до болота донесёшь — взопреешь. А обратно как нести — с вёдрами-то вместе? Уж лучше по-старому, а в трясины, даст Бог, не затынет, ежели с оглядкой-то. Тогда Матвей решил сделать что-нибудь более практическое для хозяйства — стиральную машину, которых тогда ещё промышленность не выпускала. Машина была готова через две недели. Матвей водрузил её в центре избы и продемонстрировал тётке, стиравшей, как и все бабы испокон на Руси, бельё на речке: “Смотри, какая вышла штука”. Вода в машине подогревалась на углях до более-менее тёплого состояния, и именно это обстоятельство решило её практическую судьбу. Елизавета одобритительно хмыкнула и дала на пробу нестиранные Матвейны порты. Экспериментальная стирка закончилась триумфом, если не считать, что машина от вибрации упала на пол и вода разлилась по всему полу.

— Действительно, тёплая, — не без одобрения пробурчала Елизавета, склонившаяся над полом с тряпкой.

Матвей принёс ещё ведро, залил, но на этот раз держал машину рукой. Порты достирали — вышло очень даже чисто. Матвей сообразил, что нужно понизить центр тяжести, и приделал к баку противовес из чугунных чушек. Машина стала непереносной, но это от неё, по большому счёту, и не требовалось. Её затащили в угол, даже Елизавета немного помогала, держала крышку — её изобретение, положительно, понравилось. Может, тогда Елизавета и назвала его Кулибиным, хвастая перед бабами техническим прогрессом, случившимся в её женском труде.

Так это было или не так, но Матвей с того времени уверовал в себя — его изобретения могли быть полезными для человека. Признание всегда удешевляет силы художника, а разве изобретатель, по большому счёту, не художник?

С тех пор Матвей изобрёл и “внедрил” в пределах района не один десяток разных “штук” и пользовался заслуженной славой. Но осуществление мечты продвигалось медленно — не хватало чертежей, расчётов, да и специального образования. Чертежи Матвей выискивал в научно-популярных журналах, подобных тому, какой прочитал тогда в сельсовете, переписывался с такими же самоучками по всей России — что-то всё-таки пригодились в работе. Один раз его слава плеснула на всесоюзный уровень: в известной передаче “Это вы можете” Матвей демонстрировал самокат на гусеницах — для труднопроходимых мест. Самокат был снабжён небольшим моторчиком, с его помощью можно было без усталости и дозаправки довольно быстро преодолеть вёрст пятьдесят-шестьдесят. Изобретение понравилось — экспертная комиссия хвалила Матвея на всю страну. Когда Матвей вернулся, односельчане ходили к нему в дом целый день — засвидетельствовать почтение и порасспросить про столшцу, а то и заказать какую-нибудь полезную “штуку”. Мужики брали с собой пузырь, хотя и знали, что Кулибин непьющий, бабы — пироги и другую снедь. Матвей принимал всё с благодарностью, даже самогонку — сам не пил, но гостя всегда удовлетворить можно, в хозяйстве пригодится.

В тот же год, когда Матвей вышел на пенсию, померла Елизавета. Матвей остался без работы и родни, предоставленный самому себе да своей мечте. Времени у него теперь было хоть отбавляй, и Матвей забывался в почти круглосуточной работе. Заказов он больше не принимал — не хотел отвлекаться от главного.

И вот мечта его жизни была почти осуществлена — маленький, похожий на блестящую серебристую стрекозу вертолётчик стоял у него в сарае. Об этой “штуке” в селе никто не знал, даже сующие везде свой нос деревенские мальчишки отваживались Матвеем от заветного сарая строго и без исключений. Стоял тёплый августовский вечер, Матвей сидел босой на берегу речки, небо, как румяная краюха хлеба, запекалось в вечерней заре, было тихо, от яблонь шёл душистый дурман.

Матвей не столько любовался привычным пейзажем, сколько думал. Дума была у него одна, но непростая: что дальше? Вот завтра, в воскресенье, запустит он свою “стрекозу”, которой он уже дал имя “Лизавета” — оно было красиво выведено красной краской на серебристом борту, — взлетит под одобрительные рассуждения таких же, как он, пенсионеров и радостные крики мальчишек (а в том, что его “Лизавета” поднимется в воздух, Матвей ни капельки не сомневался), потом приземлится, пацаны запросятся посидеть в кабине, “порулить” штурвалом, вернее, рычагом, старики разойдутся по домам... И что потом? Куда ему летать? Не по соседним же деревням — на это требовались специальное разрешение, регистрация воздушного судна и соблюдение массы других формальностей. Хлопотать по инстанциям Матвей не любил, да и время тратить на это не хотелось. Летать над своим селом, над ближним лесом... Но это скоро может надоест, катать мальчишек было нельзя — вертолёт был одноместный. Вот что делать потом, Матвей никак и не мог придумать — другой мечты у него не было. Матвей чувствовал в душе что-то смутное, тревожное — как будто с исполнением мечты подходил конец чего-то, может, и самой жизни. Во всяком случае, смысла в жизни почти не оставалось. Матвей пытался понять, в чём же он, этот смысл? Когда он работал над своим вертолётком, таких мыслей у него не возникало, поэтому попервости думалось тяжело. В чём, к примеру, был смысл Елизаветиной жизни? Наверное, в нём, Матвее. А его? В “Лизавете”, собранной из железа и проводов?

Хоть это была и мечта, но всё-таки как-то недостаточно для смысла целой человеческой жизни, а теперь и этого нет — мечта была собрана, сварена, отрегулирована. Матвей подумал, что, будь жива сама Елизавета, ей бы понравилось, что её именем называют летательные аппараты, хотя своё приятствие наверняка бы скрыла за добродушным ворчанием. Может, надо было уделять больше заботы живой Елизавете, хотя жили они мирно, но не скажешь, что душа в душу — душа Матвея гостила в их доме, а жила всё-таки в мастерской-сарая.

Небо темнело, только облака, подсвеченные закатившимся и не видимым уже солнцем, румянились над головой огромными пирогами. Матвей вдруг резко встал — ему захотелось взлететь именно сейчас, поближе к этим нежно-розовым облакам, может быть, увидеть с высоты краешек простившегося уже с этим днём солнца. Отперев сарай-мастерскую, Матвей выкатил свою “Лизавету” на двор. Чуть свисавшие лопасти и серебряные бока фюзеляжа ещё ловили последний вечерний свет, казалось, эта огромная стрекоза села на траву перед домом погреться в последних, поэтому особенно ласковых лучах. Матвей сел в кабину и, перекрестившись, завёл двигатель. “Стрекоза” проснулась, зажуужала, лопасти начали рисовать правильную окружность. Все мысли исчезли, Матвей, расширив глаза, с детской улыбкой на губах потянул на себя рычаг управления.

На похороны Кулибина собрались люди, почитай, со всего района. Говорили много, правда, часто путано. Председатель сельсовета надел по этому случаю галстук, купленный им недавно в Италии, в командировке по обмену опытом с тамошними фермерами. Бабы то плакали, то обсуждали последние сплетни, особенно про молодуху Нинку из сельмага: та каким-то образом умудрилась недавно выйти замуж уже в третий раз. Схоронили Матвея

рядом с его тёткой Елизаветой, кто-то не без художественного чутья догадался сделать крест на могилу из остатков лопасти разбившегося вертолётца. Нинка, покойника почти не знавшая, почему-то плакала пуще остальных. Это было тем более странно, что “выскочила” она как раз за председателя.

РУССКИЙ ЛАБИРИНТ

В одном городке в Подмосковье за стойкой бара в самом дорогом местном ресторане сидел крупный подвыпивший мужик лет пятидесяти. Ему было хорошо. Он вонзал строгие глаза в каждого входящего, будто подозревая, что тому не нравится, когда ему хорошо. Некоторые посетители отводили взгляд, а то у нас ведь как? Сначала вопрос: “Чего уставился?” — потом, вне зависимости от ответа: “Ты сам кто такой?” — потом, слово за слово, — и вот, пожалуйста: драка, милиция, протокол. И всё на пустом месте. Но некоторые задерживались глазами на его холёном, но опухшем лице, “фирменном” пиджаке и крупном перстне на правой руке.

— Варя, а ну-ка — водочки мне плесни, красавица! — громко, на весь зал, сказал мужчина официантке за стойкой, не отворачиваясь от входящего посетителя.

Барменша Варя — полная аппетитная женщина в фирменной рубашке “а ля рус” — только качала головой.

— Да полно уж, Валерий Степаныч, шли бы домой, жена же ждёт.

Было понятно, что Валерий Степаныч гость здесь неслучайный.

— Жена на то и жена, чтобы ждать! Зачем мы, мужики, на вас, дураках бабах, женимся, а? — спросил мужчина, принимая от барменши рюмку. — Зачем, я тебя спрашиваю? А?

Варя с понимающим смешком пожимала плечами.

— А-а! — мужчина поднял палец с перстнем. — А затем, чтобы она, то бишь, жена... ждала! Вникаешь? За неё!

Варя вздохнула.

— Степаныч, ну, мы тебя ждём на крыльце, задубели уже, — в ресторан вошёл другой мужчина, помельче Степаныча, в куртке-аляске и нерповой боярке.

— А-а! Паша! Ты вот там меня ждёшь, жена меня дома ждёт, — Валерий Степаныч обернулся к барменше за подтверждением, Варя утвердительно кивнула. — А я здесь жду! Мы все ждём, и все в разных местах! Вникаешь?

Мужчина, названный Пашей, подсел за стойку.

— Варвара! По рюмахе нам быстро организуй!

Барменша вздохнула. Но спорить с авторитетным Степанычем не решилась.

— Павел! Давай за тебя! Вот сколько я тебя знаю, а сколько я тебя знаю?

— Лет пять.

— Во! Вникаешь, я тебя пять лет знаю...

— А то и больше, — задумался Паша.

— Во! Даже и больше... и ни разу... слышь... ни разу ты меня не подвёл. Вот я тебя не люблю, можно сказать, в тебе мне многое не нравится, а за это вот люблю! Потому что — ни разу, — Степаныч поднял драгоценный палец, — ни разу не подвёл. Вникаешь?

Паша с тоской посмотрел на рюмку, почти в точности повторив Варин вздох. Было понятно, что своё он сегодня отгулял. Мужчины смачно чокнулись и выпили.

— Степаныч, всё, давай, все уже замерзли на улице, — Паша взял то-варища за руку.

— А чего они мёрзнут? — удивился Степаныч. — Пуцай сюда идут, я угощаю!

— Мы тут уже полдня просидели, пора уже! — возразил Павел. — Вон, другим отдыхать мешаешь! — Павел указал на скромную пару за ближайшим столом.

— Я мешаю?! — изумился Степаныч. — Парень, я тебе мешаю?

Молодой человек быстро помотал головой и даже приложил руку к сердцу: какая, мол, помеха, всё нормально.

— А бабе твоей мешаю?

Юноша помотал головой и за спутницу.

— Вишь! — Степаньч повернулся к приятелю. — Совсем не мешаю, а даже наоборот! Вникаешь? Это жинка твоя? — Степаньч снова отвлёкся на соседний стол.

Было заметно, что молодой человек напрягся. То ли девушка с ним была “неофициально”, то ли он не знал, как ответить.

— Ну ладно. Не обращайтесь внимания, молодёжь. Давай, одеваемся уже. Где твой номерок?

— А где мой номерок? Вот он, мой номерок, — Степаньч бросил на стойку гардеробный номерок, словно фишку на рулетку, и снова уставился на спутницу молодого человека.

Варя передала номерок рядом стоящему официанту, совмещавшему, по-видимому, должность гардеробщика. Вместе с Пашей они кое-как напялили на Степаньча меховое пальто и нахлобучили дорогой лисий малахай. Повели, держа под руки, к выходу. Молодой человек, не стесняясь своей дамы, выдохнул с облегчением.

— Погодь, а на ход ноги? — вдруг опомнился Валерий Степаньч. — Как же без посошка, а? Нет, погодь! Варя!

Буфетчица, убиравшая было рюмки, выпрямилась.

— Варюха! Давай нам это... на посошок! Не... стремную пока! Вникаешь?

Варя досадливо поставила рюмки на стойку, молодой человек по соседству закусил губу.

— Эх, Варюха! Ты знаешь, как я Пашку уважаю! — Степаньч положил свой малахай на стойку и расцеловал товарища трижды, по-православному.

Паша почти не уклонялся.

— Ну, давай накатим!

— Давай, Валерий Степаньч, но по-быстрому. Люди ведь ждут.

— Ждут... ждут, ждут... мы все кого-то ждём... а кого?

— Кого? — сконцентрировал внимание Паша.

— Во! Мы ждём того, кто ждёт не нас... кого угодно, но не нас. Вникаешь? Вот моя жена, к примеру. Я её ребёнка усыновил, пасынка то есть... сейчас взрослый уже — вон как этот охламон, — Степаньч опять уставился на юношу. — Тебе сколько лет-то, охламон?

— Тихо, Степаньч, не бузи! — Паша взял товарища за руку и попытался сдвинуть с барного стула.

— Вот такой же молодой охламон, — Степаньч перевёл взгляд на друга, — а знаешь, что он у меня деньги из бумажника пи...?!

— Тихо, не ругайся громко, чего ты? — Паша потянул сильнее, но безрезультатно.

— Я тебе говорю! Причём незаметно так — из тридцати тысяч — три, — Степаньч показал три пальца, — из двадцати — две, — Степаньч загнул один палец. — Из десяти...

— Одну! — закончил за друга Паша.

— Откуда ты знаешь? — изумился Степаньч.

— Догадался. Пошли, Степаньч, самая пора уже.

— Ты что, мои деньги считаешь? Мои деньги считать удумал? — Степаньч хотел взять товарища за грудки, но Паша его руки хоть и вежливо, но уверенно с себя снял.

— Да никто ничего у тебя не считает, что ты! Почапали!

— А ты знаешь, сколько у меня денег? Хошь, скажу?

Паша поморщился.

— Это твои деньги, зачем мне знать. Ну, пошли.

Степаньч помотал головой.

— А я тебе скажу! А я скажу! У меня денег... у меня денег... внукам хватит, вникаешь? Я все девяностые эти, мать их туды-сюды, по тонкому льду ходил, чтоб своё взять. Чтобы то, что мне положено, взять. Чего только

не было, да ты сам знаешь, чего было. Чуть не посадили, а стрелок сколько забивали, а? А сколько пацанов на этих стрелках полегло, а? За пацанов! Варя, по полной! За пацанов!

Опытная барменша подвинула рюмки — налила заранее.

— За пацанов! Давай! — Степаньч опрокинул свою одним махом.

Паша чуть попридержал, выдохнул и выпил.

— Был пацан и нет пацана.

Без него на земле весна...

И шапки долой, и рюмку до дна

За этого пацана...

На последней строчке Степаньч уронил голову на Пашину грудь.

— А знаешь что? — рыдалисто спросил Степаньч.

— Знаю. Мы должны идти уже. Пойдём, Валер. Пойдём, дорогой.

— Мы пой... пойдём другим путём!

— Вот именно, — Паше как-то удалось стащить товарища со стула, — к другим!

Друзья направились к выходу, шатаясь, как на палубе в шторм. Юноша-“охламон”, не выпускавший их ни на минуту из периферического зрения, заметно приободрился и что-то сказал своей подруге. Та помотала головой, отказываясь. Когда за “пацанами” закрылась входная дверь, в зале стало ощутимо тише, и можно было расслышать, как молодой человек заказал официантке кофе с молоком и торт. Официантка посмотрела на девушку, та снова помотала головой — было ясно, что ей хотелось уйти отсюда поскорей. Этого хотел и её спутник, но когда “опасность” миновала, он, видимо, расхрабрился. И напрасно, потому что не успела официантка отойти за заказом, в зал снова ввалилась та же компания и даже в расширенном составе. Степаньч вёл за одну руку Пашу, за другую — женщину в жёлтой дублёнке с капюшоном. Женщина упиралась заметнее.

— Наташа! Наташенька! Красавица моя! Сейчас выпьем за твою красоту и точно пойдём! Вникаешь?

— Валера, ну, сколько можно? Тебя же дома ждут, мы ждём, все ждут, ну! У тебя же дочка больная дома, а ты всё...

— Варя! — не поддавался на увещания Степаньч. — Давай ещё одну рюмаху!

Буфетчица с отрешённым видом достала три рюмки и бутылку водки. Степаньч взгромоздился на стул и почти насильно усадил женщину. Павел остался стоять.

— За милых дам! — провозгласил Степаньч и сильно чокнулся с Наташей, чуть не выбив рюмку из её пальцев.

Наташа переглянулась с Павлом, и оба покорно пригубили.

— Не! Так не пойдёт! — не потерявший бдительности Степаньч не дал им опустить рюмки на стойку. — За дам — до дна!

Выпили до дна.

— На-та-ли! Но в дороге я устал... На-та-ли! Утоли мои печали, На-та-ли! — запел во весь голос удовлетворенный Степаньч.

“Охламону” принесли кофе, тот нетерпеливо стал пить его горячим и поперхнулся. Степаньч смолк и вперился мутными глазами в молодого человека.

— Тебе что, песня не нравится? Или Натали?

В его голосе звучала уже неприкрытая угроза. “Охламон” отвернулся к окну и усмехнулся, но так, про себя, чтобы не было заметно. “Натали” дёрнула Степаньча за рукав — не приставай, мол, к посетителям. Степаньч высвободил руку и начал приподниматься со стула.

— Варвара! — приказал многоопытный Паша, рюмки сразу наполнились.

— За здоровье твоей дочки! — Паша, действительно, давно знал Степаньча — внимание того мигом переключилось.

— Во! Давай! Давно пора! Знаешь, какая она лапочка у меня... — у Степаныча из кармана донеслась металлическая мелодия “Раммштайна”, — вникаешь, легка на помине.

Следующие несколько минут весь ресторан слушал разговор Степаныча с дочерью.

— А ты скажи маме, что я уже еду... Ну, час назад я тоже ехал, только не совсем... тут меня задержали немного... — на этих словах Паша с “Натали” переглянулись. — Лекарства?.. Какие лекарства?.. Ах, для мамы... Ну, купил... почти... А мама тоже зачихала?.. Эту... флюенцию подхватила?.. А-а-а-а, от сердца, ну, слава Богу, то есть что я говорю... Мы тут как раз за твоё здоровье, доченька... в смысле обесуждали... мамино тоже... А какие конкретно лекарства, напомни, — Степаныч полез было в пиджак за ручкой, но расторопный Паша протянул свою.

— Ага... ага... вникаю... записал, доченька, всё куплю... А ты как себя чувствуешь? Еду, еду...

Степаныч положил телефон на стойку вместе с салфеткой, на которой записывал названия лекарств.

— Вишь, какая она у меня — сама больная, а о маме заботится...

— Валера, ну, вот — уже вся семья болеет, ехать надо, — решительно встала “Натали”.

Степаныч покосился на пустую рюмку, но возражать не стал. Нахлобучив свой пышный рыжий малахай на самые глаза, он обнял Пашу и Натали, так что, когда они выходили, можно было подумать, что тащат раненого.

— Кто был со мно-о-ю, все меня поки-и-ньте! — вдруг пьяно запел Степаныч у самых дверей, оттолкнув сопровождающих. — Я заблудился, вы-ыхода мне не-ет, в тебе бро-жу я, сло-о-вно в лабиринте...

— Вот выход из лабиринта, — успокоил Паша, открывая дверь.

Юный “охламон” пробормотал про себя, что, мол, давно пора на выход. Степаныч сделал было шаг на улицу, но остановился.

— А может, я сердцем заблудился? А может, я её не люблю, вникаешь?

— Кого? — устало спросила Натали.

— А никого! — Степаныч мотнул головой, будто бодаясь. — Никого!

— Да ладно тебе, пошли, — Паша потянул друга за порог. — Они зато тебя любят!

— За что — за то?! Если любит, почему она тогда глазки всем строит, а? — предьявил Степаныч. — На любой тусне, сука, со всеми танцует, кто пригласит. Я знаю — мне Ирка, подруга ейная, рассказала. Никому не отказывает, тварь. Я уже ей раз сказал: что узнаю про тебя конкретное, не мужика бить буду, а по тебе пройду, так она чуть на развод не подала, самка задрипанная. А как деньги кончаются — так сразу: “Валерчик, Валерчик, хороший мой”. Вникаешь?

Паша вздохнул.

— Ну, что ты хочешь, баба и есть баба.

— Тоже мне, подруге поверил, — подключилась Натали. — Женщина другую женщину редко хвалит.

— А! — поднял палец Степаныч, — потому что все вы одним миром мазаны, суки! И ты сука!

Теперь вздохнула Натали.

— Если бы не дочь родная, послал бы её с пасынком этим куда подальше. Даже денег бы дал, ей-богу, чтобы только отвязалась. Знаешь, сколько у меня денег?

— Внукам хватит, — Паша потёр висок.

— А ты откуда знаешь? — снова насторожился Степаныч.

— Да ты сам сказал.

— Я не говорил, — по-бычьи наклонил голову Степаныч.

— Валер, ты пойми, в салоне все уже ждут больше часа. Без тебя никто не уедет — твоя же машина.

— Я не могу ехать, я же выпил. Хотя кто меня здесь остановит, каждая гаишная собака знает.

— Ну вот, — Паша снова потянул товарища за рукав, — тем более.
— Валерий Степаныч, дует из дверей! — осмелилась Варвара, поёжившись за стойкой.

— Да не могу я, пойми! — не обращая никакого внимания на буфетчицу, Степаныч высвободил руку. — Не люблю я её. А дочку люблю. А кого из них больше — люблю или не люблю, не знаю. Пока не разберусь, не поеду! Все меня покиньте!!

— А гости? — уже не скрывая раздражения, спросила Наташа. — Ты же их сам на юбилей пригласил. А теперь получается, что бросил. В гостиницу их доведи и делай, что хочешь. А то некрасиво как-то. Не по-православному.

— Вот именно! А Ленка, сука, не пришла. На юбилей собственного мужа! Это красиво? Это про... по... по-православному? Покиньте меня, я сказал! — Степаныч сделал шаг назад, в ресторан.

— Так заболела же, сам слышал, — Паша посмотрел на Натали, призывая ту в свидетели.

Женщина махнула рукой и вышла. Степаныч грузно сел на неостывшее ещё место у стойки и посмотрел на буфетчицу.

— Эх, Варя, Варя! Дай мне ещё соточку.

Варя налила и внимательно посмотрела на оставшегося стоять в дверях Пашу. Тот безнадежно развёл руки. Степаныч взял рюмку и повернулся к юноше.

— Ты меня извини, парень! Это я с излома. А девчонка у тебя красивая. Главное, чтобы любила, тогда всё заладится. А любовь — это знаешь что?

Нахохлившийся снова “охламон” неопределённо пожал плечами.

— Не знаешь... А я вот уже знаю. Любовь — это когда не за что-то, а когда несмотря ни на что... вникаешь?

Юноша снова пожал плечами. Девушка посмотрела на Степаныча внимательно.

— Когда — вопреки! Да... а когда, вот как Ленка моя, с расчётом, тогда... тогда, как в этой песне поётся — каждый шаг подобен пытке... в общем — любви по плану не бывает, помни, парень! За настоящую любовь! — Степаныч опрокинул рюмку и на удивление всем встал и сам пошёл к выходу. Шёл нормально, не качаясь, будто и не пил столько. Посередине зала мужчина остановился, обернулся к буфетчице и наказал записать счёт юной пары на него. Он сказал это совсем трезво, но так угрюмо-тяжело, что никто и не подумал возражать. В дверях Степаныч снова обнял друга Пашу, они вышли, на этот раз окончательно. Но ещё стояли на крыльце, потому что даже с улицы нестройно доносилось некоторое время:

— Я заблудился, выхода мне не-ет! В тебе бро-о-жу я, словно в ла-абиринте!

— Вот женятся на шалавах, — под нос себе сказала Варвара, вытирая стойку, — а потом “выхода мне нет”. Чисто по-русски. Взял бы меня тогда замуж, не бродил бы по лабиринтам... козёл!

ЗАВЕЩАНИЕ

У деда Силантия были красивые имя и борода. Ну, имя — понятно. А борода была под стать — важная, можно сказать степенная. Не метлой, не лопатой и уж не очёсок какой.

Как белая волна, она стекала с лица и впадала прямо в пояс. Торжественная борода. Правда, больше ничего красивого у деда Силантия не было. Пятистенок, крепкий ещё, не кренился, но было уже что-то в нем уходящее. То ли обшарпанное крыльцо, то ли дух от старых циновок, то ли брёвна, кое-где насквозь потрескавшиеся. Внутри было чисто и пусто. Печь, стол у окна с облупленной белой рамой, полустёртая клеёнка на столе... Что ещё... пара табуреток. Тахта в дальнем углу. Каждую ночь, когда дед Силантий ложился поживать, тахта вместе со скрипом выдавала пыль. Столько пы-

ли, что сложно не закашляться. Тогда кровать скрипела ещё больше, словно жалуясь хозяину на бессрочную службу.

Неуютно было в избе, но дед Силантий этого уже давно не замечал. Кормился рыбой с речки, картошкой с огорода, тушёнкой, что раньше привозил сын, а потом, когда сын скорострительно умер от саркомы, то редкими консервами из сельпо. Внук Андрей не привозил ничего. Хотя нет, привёз новые поплавки да лесу в позапрошлом году, а из продуктов чего-то — не догадался. Андрей работал в городе — не райцентре, а в самой Москве, в какой-то важной организации. Он говорил, да Силантий не запомнил. На эти мудрёные названия ухо у него было не приспособлено. Андрей приезжал с девушкой, сказал — невеста. Женился он или нет, Силантий не знал — на свадьбу его не звали, и письмом тоже известий не было. Может, женился, ну а мож, и нет — у этих молодых да современных всё как-то непрочно. Вот у них — Силантия и Меланьи — было прочней железа. Ещё бы — раз железо их и связало.

Дед Силантий был тогда не дедом, а лейтенантом. И лежал раненый в госпитальной палатке, практически на передовой. А Меланья перевязку делала — бойко так, умело, — и старалась боли лишней не причинять. Ему тогда подо Гдовом осколком полплеча разворотило. Хирург вынул всё, что смог. Меланья перевязывала уже, как “мессеры” налетели. Им хоть красный крест, хоть какой — бомбят в удовольствие. Палатку снесло к чертям, кровати попрокидывало. И вот сидит Меланья на его кровати в чистом поле под бомбами, молится, а он, полуперевязанный, здоровой рукой Меланьину ладошку сжал, глаза закрыл и тоже “Отче наш” вспоминает. Хирург мимо пробегает, орёт благим матом: не молиться, бежать надо со всех ног! Тут ему голову и снесло. Начисто. Как доброй косой ромашку. А они так остались на кровати — он лёжа, она сидя. Белая, как её халат. Хотя в земле и крови — и лицо, и халат, значит. А всё одно — оба белые, белее сметаны. И ведь даже не задело, испугом отделались. А когда “мессера” ушли, он уже ладошку Меланьину не выпустил. Загадал: живы останутся — женится на ней. Она тогда ещё на него глазами брызнула, но ничего супротив не сказала и руку не отняла. Потом только, когда свадьбу играли, призналась: то же самое загадала, да у Господа молила, чтоб не разлучал. И если погибнуть, так вместе, тут же. Может, под этот загад и оставил их Всевышний на земле. Силантий-да-Меланья — у соседей в присловье вошло, как Иван-да-Марья, настолько дружно жили, душа в душу, как ладонь в ладонь.

Силантий раньше плотничал, да как плотничал — глазам на радость, заказчику — в удовольствие. Работал когда с инструментом — руки пели. Часто людям и за “спасибо” не отказывал, когда заказов не густо было. Не все, правда, красоту понимали. Колян — сосед наискосок — завсегда бычился, когда Силантий ему предлагал то кровлю на доме подлатать, то водосток банный починить, то забор поправить.

— Не лезь! Моё! Захочу — сам почино. А не захочу — нехай валится. Силантий фыркал.

— Так ведь некрасиво, мил человек! Глянь — ендову повело совсем, следующую зиму не переживёт, крепить надо.

— Тебе-то чего? — настаивал сосед. — Моё! Некрасивое, а моё! Своё тревожь, моё не трожь!

— В некрасивом доме и жить некрасивая!

— А ты мою жить не трогай! Не тебе дадена!

Силантий пожимал плечами и отступался. Соседскую крышу, действительно, на Богоявление завалило. Колян пыхал молчаливой злобой, поднимал стропила, сделал кое-как и тут же запил. Потом Силантий слышал: чуть ли не его винил Колян в той крыше, говорил, заломил Силантий цену небесную, а не по-божески. Так и прожил Колян до самой смерти с переломанной баней да кривым, словно запойным, забором. С Силантием и Меланьей не здоровался и бабе своей, Антонине, заказал. А как помер через пару лет от пьянства, так Силантий, у вдовы не спрашивая, всё наладил.

— Как строишь, так и живёшь! — сказал напоследок, от платы, как и до того говорил, отказался.

Меланья, правда, дармовой работы не одобряла. Пилить — не пилила, но мужу выговаривала.

— Ты не понимаешь, что ли? Не ценят люди. А то ещё — и обижаются.

— За что же людям на мою работу обижаться? — недоумевал Силантий.

— Отплатить им нечем, в долгу себя чувствуют. Обязаны будто. Ну, а коли совесть есть, то беспокойно им как-то. В должниках слыть-то.

Силантий оглаживал свою бороду, но понять женины резоны никак не мог. Совесть, по его разумению, не для этого была предназначена. Но долго они всё равно не спорили, кто-то да переводил на другое. Чаще — Меланья, и чаще всего — на свою работу. Точнее сказать — на свою зарплату. Платили ей как почтальонше меньше трёх тысяч. Надбавки какие-то полагались, но их и так никто не видел, а потом и вовсе отменили. Так и померла — прямо там, на почте. Кто-то из очереди наорал, посылки своей не дождавшись. Будто Меланья за всю российскую почту в ответе. Охнула только, прижала охапку писем к сердцу, да так и осела — с чужими письмами в руках. Ни одного не выронила. Врачи сказали — острая сердечная недостаточность. Силантий на кладбище тогда подумал: у человека, который своей злобой другого умеет убить, — вот у кого сердечная недостаточность. А земля таких носит.

Последние десять лет ходил Силантий на женину могилку каждый Божий день. Следил, ухаживал. За домом своим уже не так следил, как раньше, душу не вкладывал. Душа с Меланьей ушла. Порядок, как мог, держал, не давал покривиться ни дому, ни себе. Но всё же без Меланьи это был уже не дом, а так... жилище. Земля, конечно, всех пережует. А пока жить нужно. Но чтобы понять — как, — и приходил сюда Силантий. Сидел, молча вздыхал в свою роскошную бороду. А как что приятное совсем из жизни вспоминалось, улыбался — тоже в бороду, тишком. А вскоре почуял, что пора и ему за Меланьей. Потому решил дед Силантий написать завещание.

Встал в тот день обычно — с зарёй, но ни на реку, ни на погост не пошёл, даже на двор не выглянул. Долго искал подходящую бумагу, не нашёл, вырвал лист из старой Меланьиной тетрадки. Той, куда покойница записывала все расходы, покупки нужные да сбережения с пенсии. Не успела закончить тетрадь Меланья, кончились её земные расходы раньше. Вот такой листочек в линейку и вырвал дед Силантий — последний баланс сводить. Послонявил карандаш, потом всё-таки пошарил в ящике стола, достал авторучку. Завещание — документ серьёзный, стираться не должен. Вывел, сопя над листом: “Моя последняя воля”, — вырвал лист, написал по-другому “Завещание гражданина Клименко Силантия Архиповича” и задумался. Долго так сидел дед Силантий с ручкой в старых коряжистых пальцах, смотря в пустой лист. Не над тем думал, что отписать по духовной, а над тем — кому. Вернее, кому — было ясно: внук был один. Не просто один внук, а из всей родни — один. Невестку Силантий не жаловал, особенно с тех пор, когда эта столичная мамзель на Меланьины поминки не приехала. Сын-то в Москву через неё попал. И столичную прописку по женитьбе получил. Старики были раз у них, когда внук Андрюша родился. Меланья много чего напекла, мёду взяла, всяких гостинцев по узелку. Эта, московская-то, с расфуфыренным именем Эльвира, бросила всё в холодильник, не глядя. Потом ещё Силантий в Москве был — уже у Андрея. Ещё до той девахи, с которой он их в деревне навещал.

Нужно было Силантию одну бумагу выхлопотать — для всего села. Знали все, что у него внучок при начальстве — вот и снарядили, что-то по пашням — между двумя районами ничейная земля образовалась. Отдать в надёжные руки, ответа дожидаться и привезти. Бумагу-то отвёз Силантий, а вот ответа не дождался, конечно. Но и Андрей упреждал — нет никакого смысла в Москве сидеть, ответ вам в район и так официально придёт. Силантий тоже так думал, но для порядку решил неделю “посидеть”. Внук, конечно, не обрадовался, но квартира у него из двух комнат была, бабы на тот момент рядом не наблюдалось, так что стерпелись.

Походил Силантий по Москве, поездил. Огромный город, ничего не скажешь. Дома — под облака, а вот люди мелковаты. То ли в сравнении, то ли ещё как... не по росту, конечно, а по сердцу. Точнее Силантий и сам бы не

мог точно определить. Но что-то такое было в здешних людях... примесь какая-то. К примеру, стояли они в пробке на окружной дороге. МКАД, если коротко назвать. Андрей чертыхался направо и налево, на него тоже огрызались. Ну, это понятно. Хотя они и не спешили особо, нервы всё ж не железные. Потом с левого ряда их "Скорая" подвинула. С сигналами да фарами. Больного, верно, везли или, наоборот, за больным ехали. И всё бы ничего, да Андрей и ещё несколько таких же ловких "Скорую" пропустили и за ней на большой скорости — как за ледоколом по чистой воде. Силантию стало неловко. Выходило, что они чьей-то бедой пользуются. Поделится с внуком. Андрей только усмехнулся — Силантию показалось, не без превосходства.

— Ты чего, дедуль? Это ж Москва. Тут хлебалом щёлкать нельзя. Либо ты, либо тебя. Мы вреда никому не делаем, закон не нарушаем. Так что расслабься.

"Либо тебя..." Пряма, как на войне", — подумал Силантий, но влук возражать не стал. Но и "расслабляться" не хотелось. Закон законом, но на фронте таких пронирыливых не любили. А внук объяснил ещё.

— Ещё ведь неизвестно, кого везут — больного или блатного. Сейчас они за деньги так мимо пробок народ возят, что побогаче. Как такси, только с гирильндами. А если и к больному, так ему такой счёт выпишут — мне сосед жалился как-то, — что ещё подумаешь, может, сразу помереть легче было бы. Сосед грит: приезжает докторша — этакая цаца, красивая, надушенная, напомаженная, халатиком своим беленьким шелестит, прям как невеста фатой...

Силантий поёрзал на сиденье. Вспомнил Меланью в халате тогда, под налётом. На фронте "цац" не было, а были санитарки, медсёстры, сестрички. Их солдаты любили по-братски, берегли, за "цацу" могли запросто каску в мозги вмять где-нибудь в дальнем окопе.

Или вот ещё — тоже на дороге. Ехали по какому-то проспекту или улице, но очень широкой. Женщина — пожилая, почти старуха — не по подземному переходу пошла, а по верху, прямо между машинами. По глупости, конечно, по бабской. И чего её понесло? Упала аккурат на середине, так машин десять объехали её, пока какой-то паренёк прямо перед ними не остановился, вышел да помог на ноги встать. А Андрей на того паренька обзлился. Из-за таких козлов, говорит, все пробки в Москве и случаются. Даже посланчили, чтобы, значит, быстрее старухе помогал. Силантий огладил бороду и подумал, что его, упавшего, Андрей тоже бы объехал, не задумываясь.

Про телевизор вообще говорить нечего. Внук научил, какие на пульте кнопки, какие стрелки жать, какие не трогать. И программ куча, по-новому назвать — каналов. У него-то всего три было, центральные, в основном новости и включал Силантий. А когда погас телевизор — ламповый ещё, — во время этой клятой перестройки, так и не стал чинить. Не то что тратиться не хотел, а такие новости жить мешали. Старой радиоточки вполне хватало ему, чтобы понимать, что на белом свете творится. А сейчас смотрел Силантий в московской квартире эти новомодные каналы и ничего не понимал. Нет, о чём шла речь, было, в общем, ясно. Не понятно только, отчего смеются и чему хлопают. Кто пел — так голосов нет, одно кривлянье, а женское — так почти голое. И чем меньше на такой фифе одежды, тем меньше она умела петь, а восторгов, наоборот, больше. Шутили так же из телевизора — не смешно как-то. Но вместо аплодисментов хохот — будто ему подсказывают, в каком месте смеяться нужно. Вот разговоры разные, споры — интереснее уже показалось. Как будто в деревне на сходе — так же все кричат, и слушают того, кто перекричит всех. И так же бабы кудахчут, и чем громче, тем глупее. Как вернулся к себе, так ничего и не вспомнил, что показывали, как внук выражался, по "ящичку". А внук и ржал, и причмокивал на этих голых безголосых, а как новости пускали — ругал высшую власть смачными словами. Хотя вроде с этой самой власти и питался.

Но как бы там ни было, родни боле у деда Силантия не числилось. Чтобы наследство описать, значит. Так и просидел до темноты дед Силантий над листком в клеточку, думал, корпел. Кроме избы, ещё что-то нужно было внуку передать. Совет — не совет, кто стариковские советы сейчас слушать

будет! Но чувствовал — одной избы мало. Дед Силантий зажжёт лампу. Потом выключил. Может, в темноте бы лучше ему думалось. Но в темноте вспоминать хорошо, а не думать. Потому снова включил Силантий лампу, придвинул к тетрадке поближе, чтобы глаза, значит, не устали раньше времени, и проверил который раз ручку на обратной стороне Меланьиной тетрадки.

По лампе и почуяла соседка неладное. Никогда дед Силантий днём свет жечь не стал бы. Бригада из района приехала не быстро, но к вечеру всё же добралась. Оформили всё, как полагается, удостоверили, выписали справку. Антонина заверила, что тут похоронит, поэтому не повезли. Участковый тоже не замаялся — всё было просто и даже обычно. Лишь когда извлёк из-под потускневшей белёсой бороды листок бумаги, поскрёб затылок. Но повертев в руках, никуда подшивать не стал, только головой покачал. Действительно, кто ж такое завещает? “Добрых людей вокруг тебя, внучек, и сердца, чтобы добро хранить, а ещё...” Тоже мне — “последняя воля”! Участковый усмехнулся на “добрых людей”, оглянулся, куда бы деть, и, не найдя лучшего места, бросил листок в печку.